

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ И ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ: ДВА ОПЫТА ФИЛОСОФСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ

© 2017

С.М. Климова

Если понимать под философской автобиографией историю духа, самосознания и мировоззрения ее творца, то “трилогию” (“Уединенное” и два короба “Опавших листьев”) В.В. Розанова и “Самопознание” Н.А. Бердяева можно считать яркими примерами биографий подобного типа. С нашей точки зрения, сопоставление этих двух работ вполне корректно, несмотря на более чем тридцатилетнюю разницу во времени их написания, принципиальную несхожесть философских и жизненных позиций и биографий их авторов.

Сходство же обусловлено, прежде всего, культурной, интеллектуальной, духовной общностью философов, целиком принадлежащих эпохе Серебряного века. Оба рано были “призваны” к философии. Бердяев неоднократно указывал на свою тягу к философии с детства, осознанию “себя человеком, который посвятит себя исканию истины и раскрытию смысла жизни” [2, с. 48]. Этот путь для него не был связан с карьерой профессионального философа — университетского профессора. Поиск истины-понимания у Розанова совпал с открытием его “заветной” темы — пола, семьи, их религиозной связи. Это открытие шло на фоне разочарования философией как академической наукой, после провала его первой и единственной книги “О понимании”, написанной в традиционной форме философского текста.

Обнаружив в себе тягу к философии как смысл и предназначение, оба воспринимали свое философское Я как “*несвоевременное*” (Бердяев), “*неуместное*” (Розанов), не совпадающее с тем, что принято называть жизненной — хронологической — биографией человека. Розанов для этого состояния использовал “неологизм” “несовокупающийся человек” [4, с. 173], определив суть своего — ни с кем и ни с чем не совпадающего — индивидуалистического уникального философского бытия в мире. Та же установка доминирует в субъективистском (персоналистическом) самопознании Бердяева, который принципиально отличает себя от рода, семьи, общества, истории, даже Бога. “Уединен-



**ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ**

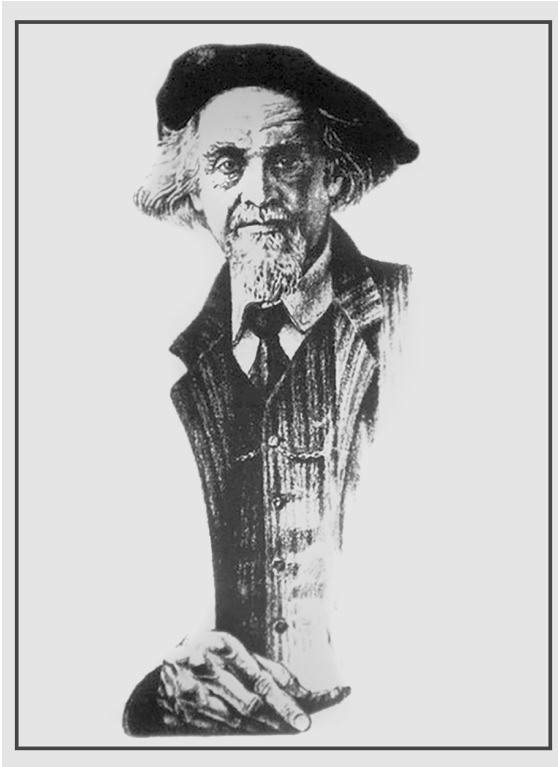


**Климова
Светлана**

Мушаиловна — доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Постоянный автор журнала. E-mail: sklimova@hse.ru

Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ 17-01-0018) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2017–2019 годах и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5–100”.

131



Николай
Александрович
Бердяев
(1974–1948).
Рисунок
Ю. Селиверстова

Однако Розанов и Бердяев не отделяли себя от социально-бытовой оболочки, не практиковали “катакомбное” философствование, не слыли религиозными отшельниками. Напротив, оба были активными участниками культурно-исторического процесса, много публиковались, не скрывали своих мировоззренческих позиций, пользовались авторитетом среди русских, а Бердяев и среди западных интеллектуалов. Розанов, как известно, был одним из первых апологетов быта и праведной жизни молчаливого большинства простых тружеников, основателем “религии семьи”. Появившись на свет в семье мелкого чиновника, пробиваясь сквозь нужду и заброшенность, он своим трудом и талантом добился уважения, благополучия и признания в профессиональном сообществе. А закончил свой земной путь он в нищете и болезни в “вынужденной эмиграции” в собственной стране, фактически от голода и горя в 1919 году в Сергиевом Посаде. Жизнь Бердяева, полная бурных коллизий и переживаний, по масштабу сопоставима с приключениями эпических героев древности; ее вполне можно назвать российской одиссеей. Судьба кидала его — утонченного высокородного аристократа — в революционные кружки и политические ссылки; он был марксистом, организатором религиозно-философских собраний, редактором и вдохновителем идеалистических философских журналов, ярким писателем и страстным полемистом. Особой стра-

ность” и “одинокчество” — вот главные маркеры философского самосознания мыслителей.

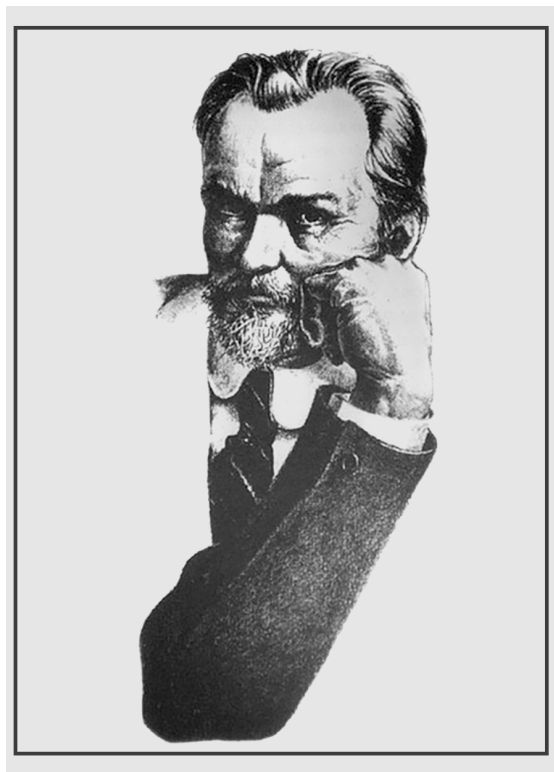
Свою духовную “инаковость” миру оба определили как “жизнь в мечте”. Для Розанова мечта была сортом вечной созерцательности своего внутреннего протосостояния, интеллектуального вызревания. Бердяев, возможно, даже более, чем Розанов, был романтичен в тяге к мечте, как основе саморазвития; в нем сопрягалось внутреннее и внешнее стремление к идеалу-мечте. Будучи внешне антиподами: Розанов — апологет религии семьи, рода, монархии; Бердяев — страстный пропагандист свободы личности, субъективизма, мистического анархизма, асексуальности, они совпали в своем внутреннем философском самоописании и самовосприятии. Объединяет их прежде всего живой религиозный опыт, которого нет в биографии, но этим опытом пронизана их духовная “память” о Боге.

ницей его бурной трагической жизни стал эмигрантский период в Париже — Кламаре, где и закончилась его земная биография в 1948 году.

Однако подлинная жизнь Розанова и Бердяева текла в другом мире, в ином событийном пространстве. Понять это позволяет обращение к философской автобиографии, одному из немногих жанров, смело демонстрирующих сознательную установку авторов на вторичность и даже производность фактов бытия от субъекта мысли; самоценность субъекта здесь основополагающая. Все, что можно назвать историко-культурным и бытовым, семейным контекстом описания жизни философа, следует анализировать как переработанное в тайниках его философского мира.

Розанов и Бердяев демонстрируют нам специфику своего философского бытия, обрисовывая его уникальные пространственно-временные параметры: *неуместность и несвоевременность*; их можно называть внутренним — *субъективным хронотопом*, организующим пространство бытия-мышления философа.

Субъективный хронотоп позволяет вычленить рефлексивный акт в чистом виде, независимо от мотивов, обстоятельств жизни или событий внешней истории. Рефлексия и есть главный предмет и базовая основа философской, а в конечном итоге, жизненной автобиографии. При этом речь идет о рефлексивности неклассического типа — об идее *ratio*, воплощенной в декартовском *cogito*, о рациональности Логоса, являющегося “метафизическим и божественным одновременно” [3, с. 71]. Все это с головой выдает русскую натуру авторов, выражающуюся, прежде всего, в тяге к интуитивному, мистическому самопознанию, к потребности искать решение мировых загадок жизни и смерти с точки зрения “бездны”, как выражался Бердяев. С его точки зрения, именно здесь проходит водораздел европейской и русской философий, чувствуется их принципиальная чуждость друг другу. Если европейцы — это главным образом историки философии, которым важны детали и контексты, ибо они мыслят о “чьей-то мысли”, то русские — самобытные философы, не просто имеющие самостоятельные идеи, но и остро их переживающие в своем субъективном хронотопе. Позиция, безусловно, спорная, но при этом наглядно демонстрирующая типично русский взгляд на образцового философа.



Василий
Васильевич
Розанов
(1856–1919).
Рисунок
Ю. Селиверстова



Прояснение понятия *субъективного хронотопа* требует поиска особых выразительных средств, новых способов самоописания и понимания специфики логосного мышления. Простая констатация себя в качестве мыслителя, подробное изложение своей философии в речах, статьях и публикациях, собственно как и ссылки на них малопродуктивны для прояснения сути философской автобиографии. В лучшем случае, они могут выступить в качестве вспомогательного материала, вызвать первоначальный интерес, но не более того. Розанов и Бердяев были зачинателями важнейших сдвигов в философии языка и герменевтике. Они понимали, что на языке Декарта или Канта, и уж тем более Августина говорить о себе как мыслителя, живущем мечтой, погруженном в “мистическое творчество” невозможно, да и не нужно. Разгадать тайну мышления оказалось возможным благодаря созданию нового философского языка.

Так, Розанов в начале XX века открыл уникальный способ “озвучивания” мысли, продемонстрировал наглядность мыслительного процесса, создав свой неповторимый жанр “опавших листьев”, метафорически представивших “душу автора” (В. Шкловский), “поток его переживаний” (В. Сукач), процесс работы сознания как такового. Переживание — это не бытийное, но рефлексивное соединение потока текущей жизни и ее понимания субъектом, которое отразилось в особом семиозисе. Сознание-переживание позволяет нам ориентироваться в мире сразу, до оформления знаний в языке, и лишь потом называть этот мир, работать с предметами, учиться абстрагированию и рефлексии. Работа сознания сопоставима с потоком падающих мыслей-листьев, которые “сошли прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения, без всякого постороннего” [4, с. 9]. Процесс *записывания-проговаривания-прочтения* — вторично-рационален, оценочен, не совпадает с субъективным хронотопом рождения листа-мысли.

“Опавшие листья” — это произведение с уникальным способом организации текста. В нем соединены многообразные, отрывочные, понятные рассуждения, афоризмы, авторские откровения и коммуникативные ситуации, олицетворяющие социальный или бытовой, пространственно-временной процесс течения жизни. Бытовые, порой даже физиологические сюжеты, как и самые страшные, роковые события истории или частной жизни не способны воздействовать на субъективный хронотоп, подчинить себе “Я” мыслителя. Внутреннее течение мысли практически всегда автономно и зачастую прямо противоположно предлагаемой коммуникативной ситуации. “Опавшие листья” демонстрируют независимость течения философской мысли от бытовой: зимой или летом, утром или вечером, написанная на транспаранте или на подошве купальной туфли, в ходе разглядывания исторических монет или “сидя в клозете”, во время прощания, “идя за гробом Суворина”, мыслитель бесконечно погружен в субъективный хронотоп. «...Да просто я не

имею формы (*causa formalis* Аристотеля). Какой-то “комок” или “мочалка”. Но это оттого, что я весь — дух, и весь — субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого» [там же, с. 64].

Розанов создает особый *почти рукописный стиль* для наглядной демонстрации процесса и результата формирования мысли, в котором внешнее (ситуация) и внутреннее (мыслительный процесс) являются особым семиозисом. В нем друг с другом сталкиваются “вечная идея” мыслителя и банальная локусно-темпоральная или любая иная коммуникативная ситуация текущего момента. По сути, пытаюсь соединить субъективный хронотоп с внешним временным потоком — историей жизни миллионов обывателей в ее движении от начала к концу, от рождения к смерти, — Розанов развивает феноменологический подход, исходя из идеи неразрывности и взаимной несводимости (нередуцируемости) сознания и предметного мира.

Бердяевская манера письма чем-то схожа с розановской, несмотря на принципиальное различие их текстов и по форме, и по содержанию. Разговор о форме выражения мысли для него является наиважнейшим. Он постоянно подчеркивает свою “недискурсивную” манеру письма, неспособность “долго” развивать мысль. Ему всегда были важны фрагментарность, афористичность, сверхлогичность. Бердяев не считает свое мышление доказательным, систематическим или поучительным; оно, прежде всего, мистически-интуитивное (“интуитивно-синтетическое” по его словам); развивается не рационально, но “логосно” — по принципу прозрения, непрерывного течения и мгновенного схватывания. Дискурсивность — пособие для читателя; она совершенно излишня и даже вредна для прояснения мысли как таковой. Для Бердяева, как и для Розанова, главное — экспрессия — самовыражение.

Бердяев неоднократно совсем по-розановски подчеркивает, что философские идеи вызревали в нем постоянно: находился ли он в бальном зале, на собрании соратников по партии или в кинематографе; их течение чрезвычайно схоже с падающими листьями Розанова: “Мысль моя протекает с такой быстротой, что я еле успеваю записывать. Я не кончаю слов, чтобы угнаться за своей мыслью. Я никогда не обдумываю формы, она сама собой выливается, моя мысль даже изначально связана с внутренним словом” [2, с. 221]. Свое мышление Бердяев рассматривает через понятие “непрерывного писания”. Его субъективный хронотоп опирается на интуицию, которая наиболее точно воплощается в афористическую форму. Ибо “афоризм есть микрокосм, он отражает макрокосм, в нем все” [там же, с. 87].

Текст Бердяева направлен на выражение *идеи свободы*. Именно она становится той главной интуицией и первоосновой, которая играет роль чистого сознания-переживания, находясь как в основе акта мирового творения, так и в основании индивидуального творчества. Философия свободы Бердяева не



мистично и абстрактно, но конкретно-содержательно обнажает специфику творческого процесса, творческую лабораторию мыслителя. Розановское внутреннее говорение, духовная погруженность в себя наполняется экзистенциальным содержанием в философии Бердяева. То, что прописывается Розановым как апофатическое внутриутробное слушание себя, раскрывается Бердяевым как экзистенциальная тоска, бунт, одиночество философа-персоналиста.

Для того чтобы понять отношение Розанова и Бердяева к внешнему миру, как и к самим себе, в нем участвующим, необходимо обратиться к выработанной обоими авторами иронической и трагической манере письма. Даже сегодня многие считают трилогию Розанова автобиографической исповедью, принимая за чистую монету его бытописание, откровения об интимной стороне своей семейной жизни, пересказы семейной хроники. Важно понимать, что Розанов в процессе внешнего самоописания жизни создает авторский миф о себе. Он сделал себя героем собственного философского произведения, создал текст в духе карнавализации и буффонады, превратив себя в философа-шута и само-ироника. Именно этот взгляд помогает раскрыть всю глубину его феноменологического философского мышления. При этом за откровенной насмешкой и иронией над “серьезностью” всякого рода искусственных истин и публичной жизни вскрывается глубоко трагическое прозрение “уединенного” — внешне юродствующего писателя, в самоиронии нашедшего единственный способ самосохранения своего философского “Я”, своей души, и в то же время бесконечно стремящегося найти возможность дескриптивного выражения всеобщности интимных переживаний.

Бердяев возможно и не был таким ярким стилистом, как Розанов. Зачастую его мысли рождались в ходе общения и столкновения с разными позициями и идеями; однако активность творца была налицо. Внешняя биография мыслителя зачастую создавала ложное впечатление о его философии; чаще всего его считали социальным философом. Но это была лишь маска, игра, почти “розановская ирония”, за которой прятался по-розановски уединенный и одинокий созерцатель. Субъективный хронотоп (Я) погружал Бердяева в глубины экзистенциальной тоски и одиночества, выступая базисом творческого акта, в то время как его персона¹ (не-Я, герой в маске) активно была включена в революционные, политические и религиозные дискуссии, выступала базисом внешних действий и активности.

Если розановская ирония обернулась карнавализацией и буффонадой истории, то бердяевская ирония — это взгляд трагика, живущего в ощущении эсхатологического конца, грядущего апокалипсиса. Мыслитель пытался показать, внутренний трагизм экзистенциальной философии как таковой. Она вырывает нас из привычного текущего мира, собственной жизни, традиционного понимания фактов и событий и вынуждает быть свобод-

¹ Per-sone — лат. смотреть сквозь прорезь (маски).

ными, погружаться в мыслительный процесс как “первородный” и жизне-образующий. Для нее вся мировая история, войны, революции, власть — лишь результат сознания-переживания, которое всегда, как по Достоевскому, есть страдание и боль. “Всякое сознание есть страдание”. Поэтому мысль может быть только эмоциональной и страстной. В этом состоянии полностью изменено отношение к исторической памяти, которая, совсем по-августиновски, не существует ни как прошлое, ни как будущее, ни как совокупность фактов-событий. История творится в миг ее осмысления самим познающим и переживающим субъектом, не зависящим от ее сюжетов и примеров. Здесь история становится инвариантом субъективного, творческого процесса; она не существует, но случается в акте творения.

Трагично и бердяевское понимание собственного статуса как экзистенциального философа, преодолевающего объективность и независимость мира в идее творческого акта, выхода субъекта за внешние пределы. «Я противопоставлял “бытию” “творчество”. “Творчество” не есть “жизнь”; творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над жизнью и устремлено за границу, за пределы, к трансцендентному» [там же, с. 54]. При этом направленность творчества за пределы мира может быть успешной только в том случае, если оно порождено и вызрело в лоне субъективного хронотопа творца. Только в творчестве человек боговдохновен, только в этом состоянии он вступает в диалог с Богом, постигая истины бытия. Только на этом пути он преодолевает “царство объективации”, будь то нагромождение исторических фактов или природных истин, и становится свободным, выходя на дорогу экзистенциальной субъективности и духовности, “к царству человечности или богочеловечности”.

Таким образом, философские автобиографии являются наглядными образцами преодоления представлений о существовании объективного времени/истории, одинаково протекающего для всех нас — носителей одинаково-безличной хронологической биографии, и позволяют рассмотреть свою жизнь в перспективе субъективного хронотопа — копии “вечности”, живущей по законам творческого акта субъекта. Ибо “я есть прежде всего акт” [там же, с. 22]. Таким образом, написание автобиографии можно назвать действием не только познания, но и созидания самого себя [1, с. 55].

Литература

1. *Аверин Б.* Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 55.
2. *Бердяев Н.А.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). М.: Книга, 1991.
3. *Лосев А.Ф.* Русская философия // *Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г.* Очерки истории русской философии. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1991.
4. *Розанов В.В.* Уединенное. М.: Русский путь, 2002.